

Новое время

№ 12159

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17-го (30-го) ЯНВАРЯ 1910 ГОДА.

Литературные письма.

Юбилей Чехова.

«Празднует» (если это можно назвать празднованием) 50-летний юбилей дня рождения Чехова: он родился 17 января 1860 года.

Почетный гражданин, потому что самовольно захватил отсутствие на нем юбилера. Еще живы и те его друзья и писатели-современники, имя вся среда последних лет его жизни, и в литературной и в научной степени ощущается его влияние, так же, как и в русском театре—его повествование. В такой степени наша духовная жизнь и мы сами полны еще Чеховым, что его отсутствие кажется случайным и временным: точно он уехал опять куда-нибудь на Сахалин или вокруг света, и вот-вот вернется и напишет нам еще одну «скупую» пьесу, а Художественный театр поставит ее по всем правилам своего незамысловатого реализма. Мы уже отыскали от ранних смерей наших крупнейших писателей: времена Пушкина и Лермонтова легендарны, а с тех пор, слава Богу, для России больше дарования падают на добрую «времена и сроки», чтобы успеть развернуться. Писатели, как Пастернак и Грининг, рбжи,—да и в самых талантливых этих писателях есть что-то хрупкое и непостоянно-экономное, даже полуотрешенное (Пастернак). Из других же современников Чехова никто не опередил его и еще не подолгал за ним.

Первый талант нашего времени ушел от нас первым. Но была ли эта ропина смерти вместе с тем, преждевременной? Успел ли Чехов сказать все свое «сладко» или унес с собой что-нибудь недосказанное?

На этот вопрос, я думаю, никто, кто захочет быть искренним, не ответит отрицательно, как бы ни было нам больно.

Здесь спрятать юбилей антидекабриста Чехова без него. Он умер всего 44 лет, и последние годы тяжело боролся с медленно прогрессирующим болезнью, и так же, как Чехов, принадлежал к числу писателей, наиболее определенных в русской литературе, следовательно наиболее договоривших свое слово. Это сказало даже в последних его произведениях, которые или повторяют с меньшей яркостью настроения предыдущих, как «Вишневый сад», «Архивариус» и т. п., или же бесцельно порываются к какой-то неясной мысли, как мало-удачный рассказ «Невеста». Но крайней мере, когда теперь смотришь на «Вишневый сад», на сцене Московского Художественного театра, не без приятного удивления не находишь в этой остроте впечатлений, которой пользовался тогда «Дядя Ваня» и «Три сестры». Правда, что тому уже десять лет... Год бытует, «милна все, мила нас», но неудача «эпоха Чехова» продолжалась только десять лет? Неужели она—уже вчерашний день, и ее яркость—лишь светлые блики воспоминания?

Творчество Чехова все перешло на «смертельное» и сумрачное, но вполне ясное и осознанное. Это творчество, в котором нет никакой загадки, и так и хочется повторить о нем определение Тургенева: «самое страшное—когда нет ничего страшного».

Создания Чехова суть конечно самая реальная творения во всей нашей литературе—самый реалистический ее момент. Сравнительно с Чеховым, даже Лев Толстой кажется фантазером. Не говоря уже о провозвестнической полете последнего, даже в большинстве его романах есть элемент «идеализма», проповедь, некоторого «догматизма», — кроме элементов «суждения», «взгляда». В «Войне и мире» есть даже еще «герой» — Андрей Болконский, хотя и болезненный, «распутный покров», другим же героям извещать — тошнотой. Иером. Есть герой даже в «Анне Карениной» — тоже достаточно тошнотливый — Ле-

в. На их авторе лежат еще отблески другого мира...

Чехов—первый и последний русский писатель, у которого нет героев. Нет—и не было даже в самых ранних, юношеских произведениях. У него впервые и нет никаких особенных, «юношеских» произведений, как нет вообще различия зрелости и незрелости в его творчестве: есть только различные настроения. В смысле развития он был «зрелым» с самых первых шагов своих, в литературе, как несчастливой такой же необычайно ранней зрелости он провозгласил в своих письмах и в просвещенных спорах с ним личными отношениями. Ведь и сам человек, уверенно стоящий на своих ногах и с самого начала совершенно свободный от каких бы то ни было «взглядов». Последняя черта особенно замечательна, если вспомнить, как «женственный» характер самого Чехова, так и неопределенность литературных настроений в восмидесятые годы, когда он начинал писать, а также неясное положение тогда литературного молодого—совершенно противоположное современному. Как теперь «публика» ищет писателя в сущности только молодыми авторами, и этим писатель моложе, тем, кажется, больше у него шансов на внимание—так в восьмидесятые годы прошлого столетия были, напротив, временные самого сурового литературного академизма и бездельного «хранения традиций». Писатель, не желавший или не умевший так или иначе согласовать свои писания с требованиями так называемых «передовых элементов», рисковал остаться без «признания» и даже без возможности печататься. Чехов выручил тогда «Новое Время», которое первое «признало» его—лет в пятнадцать раньше, чем теперешние его решившие друзья, которым так хотелось переждать этого факта. Но, увы! сами боги не властны сдвинуть бывшего не бывшим! А было то, что «передовые элементы» фыркали на Чехова

и считали его «маленьким» вплоть до той самой поры, когда «великий» Максим Горький вытащил его, вместе с несколькими другими «маленькими», на аван-сцену «общественного внимания». А там уже усталый весь как будто оказал свое действие, и Чехов попал на свою полочку.

Эта полочка, как бы высоко ни поднималась она в отношении «чистого искусства», во всех остальных отношениях находится бесспорно «на уровне пола». В самом деле, трудно найти писателя до такой степени согласованного со своей эпохой и со средой, из которой он вышел, как Чехов. Его имя может стать нарицательным для обозначения если не всей России, то русского интеллигентного слоя конца XIX века и первых годов XX века. «Эпоха Чехова» — это такое же определенное и сразу повлеченное определение, как например «эпоха Тургенева». Как при имени Тургенева нам сейчас же вспоминается, как «дополнительный звук», как внутреннее эхо: «Дворянское гнездо», и мы уже слышим шум его липовых алей и видим его романтических, мягкотелых, чуть-чуть наивных, чуть-чуть незрелых героев и героинь, с их вялой влюбленностью, вялыми мечтами и дворянской «несовременностью»... точно также современное имя Чехова будет вызывать в воображении столь же определенные картины: уныло-бескусную «интеллигентную» картину наших дней, непременно в Москве, где-нибудь на Малой Бронной, и в этой квартире страдающих от внутреннего разлада «необоронимых» современных русских интеллигентов и их женщин, чеховских женщин, то задушенных в бездельной «любви» между Володей болонским и Володей маленьким, то измученных от того же душевного разлада. А в отношении явится в памяти такая же бледная картина унылой, растерянной жизни по разрозненным усадьбам и глумим провинциальным углам, Чехов—такой же «пловец» русской интеллигенции, как Тургенев был пловцом

русского дворянства. И как последний пророчил своим Рудинным, Павлам, Кирсановым, Линным, человеком и пр., и пр. близкий конец дворянской эпохи русской жизни и истории.—так в творчестве Чехова, в унылости его осенних красотах уже содержится ясное осуждение близкого конца русского интеллигентного—его теперешнего внутреннего крушения. Если бы наша литература не правила всегда танцевать от одной и той же печки условных «псевдо-«прогрессивных» фраз и воздыханий, если бы наша литература была хоть сколько-нибудь свободна—не от цензуры, а от собственной трансформации—она давно разгадала бы этот смысл чеховских творений. Но она прочитывала долгое время не считаясь с Чеховым, или давая ему отеческие выговоры за отсутствие «выработанного мироощущения», а затем благополучно свалила все на «пагубное воздействие реакции», как это и подается при танцах от печки. Да и до сих пор писать о Чехове для наших «притворно» значить смирившись сентиментальную риторику с привычными поминательными в сторону «начальства». В конце концов, конечно, все на свете зависит от начальства и его благо- или зло-умствования—даже человеческая душа!

Вернемся к Чехову. Показав, долгая непопулярность или полупопулярность, и заположа, точно «против воли», признания писателя, который до такой степени анализал зеркалом своей эпохи, вместе с собой объяснение также в общечеловеческой слабости нежить на «кривляну» зеркалу. В других случаях случается наоборот: своеобразие писателя гарантирует ему острый и даже превращенный успех. Этого тем более можно было ожидать для Чехова, что творчество его, как я уже упоминал, не задерживалось заглядом. Еще понятней медленный рост популярности такого писателя, как Достоевский, и колебания этого влияния: он сам развивался так медленно, с такими зигзагами развития (не говоря уже о внешних не-

связях), а главное—он был типичный провозвестник, «идеалист», даже фантаст. В этом отношении его можно назвать обратным полюсом Чехову: Достоевский писал только для «поучения», «для идеала», и даже на самую действительность совершенно добровольно «отвратил», как на материал для своих экспериментов. Но рассказу Страхова, он искренно был убежден, что жизнь была его фантастическими героями, и Синдариалом и Раскольниковым встряхивался в ней на каждом шагу в том самом «абсолютном» виде, в каком он выходил из-под его пера. Разубишь его в этом, по словам Страхова, было совершенно невозможно. Другими словами, он был также неспособен приспосабливаться к реализму жизни, как Чехов подоит к ней с идеалистическим «на!» Ветр двух писателей—активный и пассивный.

Но плохо быть пассивным писателем в пассивной стране! Огромной равнины, гигантским разнообразием таетесь малюшка Россия с севера на юг.—и все на этой бездонной равнине совершается по одному общему закону, стихийным массовым путем. Сразу возникают волны «общественных течений» и сразу они падают. Вдруг, в один миг, все оказывается безобразными жлобизмами, потому изумленным кадетами, потому—простоудно засыпают. Стихийно, единообразно живет Россия.

И вот ей грозит «герой». Она требует героя, если не от жизни (самому хлопотно!), то по крайней мере от своей литературы. Русские писатели, в чужд других своих особенностей, и эти—поставляя русской публике героев, но крайней мере по одному каждому десятилетью. Это началось очень-очень давно,—с самого детства Карамзина с его чувствительным Эрстом. Потом пришел Пушкин с Онегиным, потом Лермонтов с Печориным. Эти были такие блестящие. Дальше пошло таме, блднее. Но

все-таки Рудин и Базаров были еще «души» хоть куда. Даже Райский, даже Марк Бодолев, в крайнем случае могли сойти. Случив Константин Леонтьев с его еженощными «обновлениями»—случилось, но за то создал. Призрачные слуги Достоевского, но за то говорили по уму. Вдруг после долгого перерыва, после долгого чаша, пришел этот «сумеречный» Чехов... Никакого героя! Знай себе расусте «мужских людей», да уймаю нашу жизнь, которую мы, как-то, и без него ждем и попереки знаем. Никакого героя и никаких даже умных разговоров.—хоть ступай за нами к Бобрякину! Что это за писатель! Что это за преступное «общественное равнодушие». Просто у него нет Бога живого человека.

Вручил Максим Горький. Этого сразу принес с собой плутовское косящее, да еще таких удачных-разудачных, никак не выдвигаю со времени самого Маркеского. Годовая развильная дубина так и набросилась на них, а, напавшие, похрипала и с «холодно-кривым» Чеховым (русский человек незнакомый): «ничего, пусть его, он так хороший человек. Да будет ему триумф!»

Теперь, в состав этого трагифа, издалось и сборник писем Чехова. Как характерны эти письма! У нас уже успели сказать о них все обычные трансформации: и глумились то они, и поучительны, и подобны письмам Пушкина, и полны остроумия и пр. На деле это—типичные письма среднего русского интеллигента, унылого, вседа, безразличного, склонного к дружбе, любящего жизнь, но не очень пьющий ней размышляющего, а берущего ее, «как она есть». С письмами Пушкина тут уже потому есть параллель, что и в аналогии между ролью Пушкина в истории нашей культуры и положением в ней Чехова!

Пушкин был тем фокусом, в котором перекрещивались нити нашего духовного развития: он действительно был

«кратким изображением России». Можно ли сказать что-нибудь подобное о Чехове? Чехов, в ту самую «смысл» не стал русской культуры—и письма его лишней раз доказывают это. Он был «кратким изображением» только русского интеллигента 90-х годов, порочно растерянного достигающего от превратности и со скептической злобой культуры, выходящего на собственное бытие. Самый язык его писем, растерянный на все пошлости, типично «стуческий» характерный «сталь» русского интеллигента: «Знаете что? Давайте-ка лезем написать по роману! Возьмем много денег и поведем куда-нибудь к Ашму!» «Вотчина была чертешком хороша!» «Купание грандиозное...» «Я вчера был выпившим, чего и вам желаю»...

Нужно, на Пушкина это не похоже. Но и язык этот так привычен и мил для нас, и весь чеховский безбашенный для нас, и весь чеховский безбашенный (быть, где-нибудь в интеллигентной квартире на Малой Бронной, так нам знакома и мы так со всем этим связаны, что, конечно, никогда не перестанем их любить. Не перестанем, если бы даже и захотели. По крайней мере, мы—русские интеллигенты конца XIX века и начала XX. А что будет дальше,—не нам решать.

«Ах, если бы мы были с вами и видели нашего сурового-сурового ямщика Романа, на которого попалась бы гадина, да без смеха, если бы мы видели мб-даль, да мы поехали, всемы и десятилетиями, которыми мы прожались, если бы мы были с вами поганую воду, что которой открылось, как после сельтерской воды. Каким сладким нам попариться в теплом вечернем небе, на речке и джунгли, отражающих в себе тошную, грустную заботу»...

Нужно, везла раздвигать эту литературу! И любим мы ее, несмотря на отсутствие героев и героев свойственных умных разговоров.